

ТРИ СМЕРТИ: БЛОК, ГУМИЛЕВ, ЦВЕТАЕВА

Из месяца в месяц календарь неумолимо напоминает о тяжких утратах русской поэзии на протяжении последних семи десятилетий. В марте годовщина смерти Ахматовой, в апреле — Маяковского, в мае — Пастернака, в июне — Хлебникова... В июле 1937 года был расстрелян Павел Васильев, в октябре 1938-го — Клюев, два месяца спустя, в декабре, погиб в пересыльном лагере Мандельштам и чуть ли не в тот же день, но тринадцатую годовщину раньше и на свободе — Есенин.

У августа — свой мартиролог, и сегодня пришел черед обратиться к нему. Ровно семьдесят лет назад, 7 августа 1921 года, умер Александр Блок, через две с половиной недели, в 20-х числах августа, был казнен Николай Гумилев, а пятьдесят лет назад, 31 августа 1941 года, покончила с собой Марина Цветаева.

Казалось бы, ничего общего. Но если приглядеться, проглянет всюду одна и та же — явная или тайная — злоедающая метя.

Настоящей
литературой
заниматься
все меньше
возможности...



13 января 1920 года

Дорогая Надежда Александровна. Так долго я молчу, потому что жизнь очень трудна, вечная забота о пропитании, ношении дров и воды, забота о том, чтобы выправиться после каждого нового оскорбления и удара кулаком по лицу (последнее пока — фигурально, но всегда может стать действительным).

Почему фон жизни такой, я мог бы объяснить устно, но не письменно. Хорошо, что Вы живете такой напряженной жизнью, как пишете. Живите, как можете.

Я занят по-прежнему рядом работ, имеющих отношение к литературе. Настоящей литературой заниматься все меньше возможности, кажется, вовсе уже не позволено, потому что издание книг и оплата их гонораром — запрещены (здесь, по крайней мере), издавать можно только брошюры за плату, <от> которой быстро умрешь с голоду.

Таково положение литературы сейчас, я думаю, закрывать глаза на это не следует также, как и на то, что это имеет весьма реальные исторические причины. Но ведь каждый день историч. <еских> причин не вспоминаешь, и это нам лично не легче, или не часто — легче. Спекулировать же литературой я совсем не умею, это был бы единственный практический исход.

Вот Вам мой «родовой» (или «классовый») быт, а личного — почти что нет. Вы женщина и, пожалуй, просто не поверите, что личное из человека можно выколдовать? Не так ли? Целую Вашу руку.

Ал. БЛОК

Спасибо Вам за книгу!

Приписано на полях.

Ст. ЛЕСНЕВСКИЙ

БЛОК хоронили в среду 10 августа. Открытый гроб несли на плечах — от дома на Пряжке, где он жил и умирал, по Офицерской улице, мимо сгоревшей в дни революции тюрьмы, мимо Марининского театра, через Мойку и Неву — на Смоленское кладбище. Отпели в кладбищенской церкви. На могиле поставили белый деревянный крест.

К этому времени Гумилев уже неделю сидел в Чека (его взяли 3 августа). И недавнее простодушное любопытство (с претензией на конспирацию): знает ли «Колчан» о смерти Блока? — сменялось тревогой. Надо было действовать. Прямо на кладбище несколько человек сговорились идти на Гороховую с просьбой выпустить Гумилева на поруки. Ссылались на авторитет Союза писателей, Пролеткульта, издательства «Всемирная литература»... Председатель Чека как-то невпопад стал гадать, за что могли привлечь поэта. Получалась нелепость: за должностное преступление. Впрочем, опасаться тем более нечего: ни один волос с головы Гумилева не упадет.

Почему бы и не поверить обещанию?

новления связей». Что называется, спохватились. Но одно дело — принять решение, и совсем другое — его выполнить. Прошло целых три месяца, прежде чем В. Г. Шведов (по сведениям Чека — бывший подполковник, кличка «Вячеславский») разыскал наконец Гумилева на его квартире в центре Петрограда. Был март 1921 года. В Кронштадте — восстание, в Питере — рабочие волнения. Тот самый случай, когда промедление, как известно, смерти подобно. Однако Шведов, похоже, по-прежнему не торопился. Не выходя за рамки инспекционного визита, он попросил о помощи в составлении стихотворных прокламаций. Не конкретно, а вообще, если появится надобность. И Гумилев в общем согласился, хотя оговорил право отказываться от тем, не отвечающих его далеко не правым взглядам. На расходе Гумилеву было выделено 200 тысяч советских (!) рублей и лента для пишущей машинки. Между прочим зашла речь и о группе интеллигентов — той, что должна была уже, как минимум, сидеть в засаде. Но Гумилев уклончиво отвечал, что для ее организации ему нужно время. А тут пал Кронштадт.

моторно. Он не должен был проиграть. Допрошенный впервые 9 августа, через три дня после Таганцева, Гумилев строго уклонялся от таганцевской версии, хотя следователь явно его к ней подталкивал. Обвиняемый показывал, что под разными предлогами к нему приходил какой-то незнакомец молодой человек. Но когда гость попытался завести речь о работе на контрреволюцию, хозяин прервал разговор, и навязчивый посетитель ушел. «Фамилию свою он назвал мне, представляясь, — отвечал Гумилев на прямой вопрос. — Я ее забыл, но она была не Герман и не Шведов».

Почему же спустя девять дней, 18 августа, Гумилев стал подтверждать показания Таганцева? Ведь следствие за эти дни не подвинулось ни на шаг. Не обнаружилось ни соучастники, ни свидетели. Не допрашивался позторно Таганцев. Не было очной ставки. Вообще никаких материалов в деле не прибавилось. А обвиняемый начал вдруг давать показания, которых в прошлый раз от него так и не добились. В печати уже возникла догадка о попытке. Подозрение усиливает и весьма продолжитель-

центрируя их очевидную безопасность. Тем более что они еще и сопровождалась оговорками: «...после падения Кронштадта я резко изменил мое отношение к Советской власти», «...я пред-дал все дело забвению» и т. д.

Составляя обвинительное заключение, следователь Якобсон (по-видимому, кличка Якова Агранова) мало считался с тем, что подтвердил и чего не подтвердил обвиняемый. Изложив показания Таганцева, изобретательный чекист констатировал, будто Гумилев подтвердил все, и даже виновность «в подготовке кадра интеллигентов для борьбы с большевиками и в сочинении «прокламаций контрреволюционного характера», хотя на самом деле Гумилев ограничился тем, что дал «согласие на попытку написания контрреволюционных стихов», а против подготовительной работы высказался прямо, «считая ее бесполезной и опасной».

Ясно, что за это Гумилева должны были расстрелять. Расстреляли же вместе с ним сотрудник Русского музея князя С. А. Ухтомского за одно то, что он «доставлял организации для передачи за границу сведения о музейном деле и доклад о том же для напечатания в белой прессе». А могли и не расстрелять. Ведь приговорили за сотрудничество с Таганцевым к расстрелу консультанта Госплана М. К. Названова, но его отец обратился к Ленину, был поддержан Красным и Кржижановским — и Названова освободили.

У Гумилева влиятельных ходатаев не нашлось. Следователь Якобсон предложил его казнить. Президиум Петрогубчека предложение принял: приговорить к расстрелу. Суда не было. И расстрелом это убийство назвать трудно.

Ахматова почувствовала смерть Гумилева еще при его жизни, 16 августа, за два дня до рокового допроса. В поезде из Царского Села в Петроград под стук колес она сочинила стихи:

Не бывать тебе в живых,
Со снегу не встать.
Двадцать восемь пятых,
Огнестрельных шты.

Так все и было. Только не зимой, а в конце августа.

«Приговоренных, — рассказывали Ахматовой, — везли на ветхом грузовике, везли долго, грузовик останавливался».

«Расстрел был произведен на одной из станций Ириновской ж. д., — читаем в книге С. П. Мельгунова «Красный террор в России: 1918—1923». — Арестованных привезли на рассвете и заставили рыть яму. Когда яма была наполнена гнилью, приказано было всем раздеться. Начались крики, вопли о помощи. Часть обреченных была насильно толкнута в яму, и по яме была открыта стрельба».

На кучу тел была загнана и оставшая часть и убита тем же манером. После чего яма, где стонали живые и рыдали, была засыпана землей».

«Конечно, он не любил большевиков, — говорил о Гумилеве В. Ходасевич. — Но даже они не могли поставить ему в вину ничего, кроме «стилистической отдаленности» каких-то прокламаций, не им даже написанных (теперь мы знаем, что и этому нет подтверждения. — В. Р.). Его убили ради наслаждения убийством вообще, еще — ради удовольствия убить поэта, еще — «для остротки», в порядке чистого террора...»

Современный поэт взглянул на Гумилева через судьбы переживших его сверстников: «...Вроде пуля не кланялась, но зато наобум Распинались и каялись На голгофах трибунов, И спивались, изверившись, Если вылез авось... И стрелялись, и вешались, А тебе не пришлось». И дальше:

...Ни болезни, ни старости,
Ни измены себе
Не изведаль
и в августе,
В двадцать первом,
к стене

Встал, холодной испарины
Не стирая с чела,
От позора извлеченный
Петроградский ЧК.

Список благодетелей Чека открыт раньше. До Гумилева уже был Блок.

В. РАДЗИШЕВСКИЙ

Окончание следует

1.2 Для
острастки



Арестовывали же Блока в феврале 1919 года, но, продержав две ночи на Гороховой, освободили. А Сологуб тогда вообще избежал ареста. Чекисты по обыкновению начали с упрямства: живет ли в квартире номер такой-то Федор Сологуб? Сообразительный управдом отпартовал: в квартире номер такой-то проживает гражданин Тетерников, никакого Сологуба в списках нет. Ночные гости только выругались. Откуда им знать, что Сологуб — это псевдоним Федора Кузьмича Тетерникова.

Между тем участь Гумилева была уже предпрешена. 6 августа В. Н. Таганцев, обманутый обещанием гласного суда и обязательством не применять ни к кому из обвиняемых в так называемом таганцевском заговоре высшую меру, согласился дать показания против него. Сам Таганцев, заметим, в отношении с Гумилевым не вступал, и все, что он сообщал, известно ему с чужих слов. Началось с того, что некий Герман (по аттестации Чека — агент финской разведки, бывший офицер) доверительно заговорил с Гумилевым, судя по всему, о планах восстания в Петрограде. Через какое-то время, в конце ноября 1920 года, Гумилев в свою очередь обратился к Герману, сказал, что с ним связана группа интеллигентов, которая в случае общего выступления согласна выйти на улицу, и попросил для технических надобностей некоторую свободную наличность. «Таковой», — развел руками Таганцев, — у нас тогда не было».

Вот незадача: планы наполеоновские, вербовка удалась, интеллигентные люди рвутся на баррикады, а денег хватило — пусто. Но шутки в сторону: заговор все-таки, что-то же нужно предпринимать. «Мы решили тогда, — продолжает Таганцев, — предварительно проверить надежность Гумилева, командировав к нему Шведова для уста-

«Стороной я услышал, — заканчивает Таганцев, — что Гумилев весьма отходит далеко от контрреволюционных взглядов. Я к нему больше не обращался, как и Шведов и Герман, и поэтических прокламаций нам не пришлось ожидать».

Вот, собственно, и все. Ни одного дополнительного факта не понадобилось следствию, чтобы составить обвинительное заключение с требованием смертной казни. Между тем даже если Гумилев от случая к случаю тайно перебрасывался несколькими фразами с эмиссарами Таганцева, даже если опротивело брал на себя какие-то обязательства, все равно после этого он не ударил пальцем о палец. Не было в распоряжении Гумилева обещанной группы интеллигентов. Не нашлось свидетелей, что он сочинял прокламации, поэтические или прозаические. Таким образом, Чека определила Гумилеву высшую меру за эпизодические разговоры с глазу на глаз, которые не имели решительно никаких реальных последствий.

Людям, знавшим Гумилева, воображалось, как он, искусно втянутый чекистами в отвлекенную полемику о принципах монархии или о революции «вообще», с вызовом объявляет себя убежденным монархистом, непримиримым врагом Октябрьской революции. Так проще объяснить причины кровавой расправы с поэтом. Однако следственное дело, представленное в книге Веры Луницкой «Николай Гумилев. Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Луницких» (Л. 1990), лишает нас романтизированных иллюзий.

Гумилев защищался, вовсе не бравоура жизнью. Из тюрьмы он передал записку жене: «Не беспокойся обо мне. Я здоров, пишу стихи и играю в шахматы». Он действовал расчетливо и ос-

ная пауза между допросами при ошеломляющей скоротечности следствия, которое уложилось — от ареста до расстрела — в три недели. Однако в этом случае можно было ожидать бесконтрольного самоговора, таких признаний, которые не оставили бы надежд на спасение. А тут было признание, но капитуляции не было. Более того, таганцевскую версию Гумилев пункт за пунктом перетолковывает, смягчая свою вину, и прежде, как мы видели, довольно сомнительную. Так, вместо агента финской разведки Германа появляется просто немолодая дама с неподписанной запиской: кому-то понадобились «сведения о готовящемся походе на Индию». Разумеется, Гумилев ответил, что никаких сведений давать не хочет, и дама ушла. Не группу связанных с ним интеллигентов, оказывается, обещал вывести на улицу Гумилев в момент общего выступления, а «собрать и повести за собой кучку прохожих». Конечно, следователь тоже не дремал, и Гумилеву пришлось перекалывать «прохожих» в «бывших офицеров». Но затем, ослабляя впечатление, он соединил обе формулировки, заявив, что имел в виду «просто человек десятка встречных знакомых, из числа бывших офицеров...». Мы бы, пожалуй, сказали: перетягивание каната. Но можно и так: играю в шахматы. А по существу — эксплуатация сослагательного наклонения.

Деньги, по словам Таганцева, запросил Гумилев. По словам Гумилева, их ему навязал Вячеславский (то есть Шведов). Предлагал он и копировальную ленту, но уж ее-то Гумилев не взял. И правильно: пойдя потом доказки, что она не попала к заговорщикам.

Следствию сгодились и эти полупризнания. Но вряд ли стоило особым усилием подвести к ним обвиняемого, ак-